

© Н. Рис

**ПРОШЛЫЕ РАЗГОВОРЫ, БУДУЩИЕ РАЗГОВОРЫ**

Я чрезвычайно благодарна Сергею Абашину и редакционной коллегии журнала "Этнографическое обозрение" за инициативу проведения этого обсуждения, а также моему коллеге Сергею Ушакину, который проделал большую работу по его организации. Все, кто высказал свои комментарии, внимательно отнеслись к моей работе – и это для меня большая честь. В своих выступлениях участники дискуссии подняли немало существенных вопросов и сделали ряд важных критических замечаний. На фоне того небольшого числа англоязычных научных работ о России, которые переводятся на русский язык, публикация "Русских разговоров" издательством "Новое литературное обозрение" стала для меня фактом чрезвычайно лестным и приятным (даже несмотря на шок, который я испытала, увидев помещенные в книге иллюстрации)<sup>1</sup>.

Когда в годы перестройки я проводила свое полевое исследование, писала диссертацию и перерабатывала ее в книгу "Русские разговоры", у меня были две основные цели. Во-первых, поставить под сомнение разнообразные формы фундаментализма, которым пропитаны многие научные и популярные подходы к пониманию широко известных (крупных) сообществ, – тот самый фундаментализм, который увязывает социальную деятельность с воздействием таких трудноуловимых "явлений", как "ментальность", "национальный характер" или даже биогенетика (я имею в виду объяснения типа "исторический опыт передается генетически" или "это у них в крови"). В силу разных причин на долю России приходится гораздо больше исследований фундаменталистского толка, чем она этого заслужила: отдельные области общественных наук на Западе, посвященные изучению Советской России, буквально пропитаны фундаменталистским восприятием культуры. Собственно, и сам термин "культура" в последние 30 лет подвергся тщательной критике антропологов – и за его всеядность и всеохватность, и за его тенденцию объективировать многослойность и незавершенность социальной жизни в виде автономных и стройных систем<sup>2</sup>. Избегая использование таких неопределенных, но при этом чрезмерно перегруженных понятий, как "ментальность", "кровь" и даже "культура", я стремилась показать, что повседневные разговоры стали одним из основных механизмов, с помощью которых формировались социальные ценности, создавались идентичности и осуществлялись перемены во время перестройки в России (в Москве и других местах).

Второй моей задачей была попытка привлечь внимание к повседневному разговору как объекту антропологического исследования. Хотя значимость текста, нарратива и дискурса в этнографическом исследовании значительно возросла в последние годы, антропологи, тем не менее, все еще склонны фокусироваться либо на фиксированных текстах (письменных или воспроизведенных), либо на относительно узко контекстуализированных дискурсах. Кроме того, сам по себе *разговор* анализируется нечасто; интерес к разговору в основном связан с теми вещами, свидетельством которых он является. Я думаю, отчасти это объясняется тем, что живой разговор – явление неуправляемое и нефиксируемое: сам акт фиксирования превращает его в нечто совсем иное. Я хотела попытаться понять, как важные социальные идеи – о политике, обществе, идентичности – выражались и передавались посредством повседневных разговоров.

Этими исследовательскими целями определялись и те две категории читателей, которым предназначалась моя диссертация, а затем и монография: западные исследователи России (и в какой-то степени – журналисты и широкая публика) и коллеги-антропологи. Как это ни странно, я не задумывалась о том, что у этой книги может быть немало читателей и в самой России. Разумеется, многие мои российские друзья и коллеги читали разные версии текста по-английски и предлагали чрезвычайно ценные комментарии, однако я полагала, что книга будет интересна главным образом се-

вероамериканской и западноевропейской аудитории, для которой она, собственно, и писалась.

Может быть, самой важной функцией выхода книги по-русски является то, что, зеркало, которое она держит перед русским читателем, – при всех своих искажениях, вызванных культурным багажом, особенностями академической подготовки и интерпретативными склонностями автора, – отразило и проанализировало немало широко распространенных способов, с помощью которых русские говорят *о самих себе*. Эти способы редко бросаются в глаза тем, кто находится внутри собственной культуры. Но, обратив внимание на этот феномен один раз, его уже нельзя не замечать – тем более во времена социальных трансформаций. Больше всего мне хотелось бы надеяться на то, что эта книга спровоцирует новые, более детальные исследования, которые смогут дополнить или подвергнуть критике мои выводы в области культурного и лингвистического анализа дискурсивных явлений; мне бы хотелось надеяться на то, что книга послужит, по выражению Ушакина, "запалом" для новых исследований. Надеюсь также, что появятся более подробные социолингвистические исследования таких речевых жанров, как литании и ламентации (или жалобы, плачи, стоны, причитания), и в контексте повседневности, и в контекстах, более близких к фольклорным. Будем надеяться, что российские научные структуры, связанные с гуманитарными и общественными науками, поддержат то, что Глебов называет "филологическим и антропологическим поворотом", т.е. поворотом к междисциплинарности, к интерпретативному изучению взаимосоотнесенных текста и контекста, к многообразию методологий и к долгосрочным этнографическим исследованиям, благодаря которым такой поворот и может состояться.

Если мечтать дальше, то хотелось бы надеяться, что у российских исследователей появится больше возможностей проводить научные исследования за пределами России и бывшего советского пространства. Мне очевидны те финансовые и бюрократические препятствия, которые есть на этом пути, и тем не менее – было бы замечательно, если бы, допустим, благодаря Фулбрайтовской программе обменов кто-то из российских ученых смог бы провести полевое исследование живого дискурса, скажем, в Вашингтоне или Нью-Йорке. Как я писала в своем предисловии к русскому изданию книги, в последние 6 лет – при Буше – Америка переживает период своей собственной "перестройки". Обыденные разговоры и материалы СМИ полны рассуждений о национальной идентичности, о политической целесообразности, об "уверенности" и "безопасности" – как коллективной, так и индивидуальной. Бесконечные речи о благих устремлениях Америки (легитимизирующих на практике любые действия американского руководства) перемежаются литаниями и ламентациями (да-да!) по поводу безумной внешней и внутренней политики страны ("Кошмар!" "Хаос!" "Полный развал!"). Однако эти кошмарные истории, следуя одной из типичных тенденций американских разговорных жанров, быстро превращаются в шутки, в своеобразные состязания "остряков", которые могут продолжаться часами. Коллективно ощущаемое бессилие может выражаться различным образом и прятаться под самыми разными масками. Было бы идеально, при наличии соответствующего финансирования, если бы исследователь-этнограф со стороны смог погрузиться в эту стихию американского разговора и увидеть ее странную специфику; увидеть ее так, как ее не дано увидеть "аборигену".

Но, как справедливо замечает Головкин в своем комментарии, "сегодня легче найти что почитать о речевых жанрах и коммуникативном взаимодействии у илонготов, самоанцев или индейцев куна, чем о вербальной составляющей культуры немцев или французов". Уместно будет добавить, что за исключением нескольких серьезных работ о речевых жанрах (напр., *Tannen* 1994), собственно о коммуникативных жанрах в американской культуре написано очень мало, а те исследования, которые имеются,

проведены в довольно искусственных условиях. С чем связана такая ситуация? Как ее можно изменить?

Сегодняшняя ситуация, казалось бы, дает ученым блестящую возможность исследовать, как взлеты и падения государств и империй отражаются, преломляются и становятся достоянием гласности в дискурсе в самых разнообразных социальных и географических условиях. Как предлагает Головкин, потенциал дискурсивных исследований вполне мог бы выдержать и более амбициозные подходы, чем те, что практикуются сегодня. Однако, чтобы уловить "дискурсивные формации" (термин Фуко) во всепроникающей, текучей и всеобъемлющей стихии устного разговора, необходимо, как указывает Юрчак, "найти высказывания и жанры, которые всплывают вновь и вновь в разных видах дискурса, в разных контекстах, в устах разных авторов, формируя разные идеи". А это, по его мнению, можно сделать лишь тогда, когда ученый оказывается в состоянии свободно следовать за звучащими в данную минуту и в данном месте речевыми потоками – куда бы эти потоки ни текли. К сожалению, такую форму исследовательской работы большая часть структур, финансирующих науку, и большинство академических авторитетов – и в США, и в Европе, и в России – поддерживают неохотно. Полагаю, это одна из причин, по которой изучение повседневных разговоров продолжает оставаться ограниченным.

\* \* \*

После выхода "Русских разговоров", пожалуй, самой сильной критике как со стороны российских, так и со стороны западных ученых подверглись мои попытки сконструировать дискурсивные генеалогии, восстановить культурную историю различных жанров. Во время работы над книгой эта задача казалась мне важной: во-первых, потому что мои информанты указывали на народные сказки и другие древние жанры как на воплощение и одновременно источник "русской ментальности" (в их понимании); во-вторых, потому что историческая перспектива казалась существенной для объяснения структуры дискурсивной реакции на перестройку.

Когда я думаю об этом аспекте книги сегодня (в том числе и на фоне детальных корректив в отношении моих исторических экскурсов, высказанных Байбуриным и Глебовым), то мне кажется, что этот диахронический элемент книги лишь уводит читателя в сторону от синхронического, непосредственно этнографического изучения предмета. Не будучи историком культуры, я понимаю, что мое знание соответствующей литературы ограничено и что в этой части мои утверждения недостаточно обоснованы и остаются в основном приглашением к размышлению. Но в то время, когда писалась книга, работ, посвященных современным речевым жанрам в России, было крайне мало, и потому культурно-историческая и фольклористская литература казалась наилучшей стартовой площадкой для выработки интерпретации тех разговоров, которые я слышала. По крайней мере одному из нынешних комментаторов (С. Адоньевой – исследователю русского фольклора в целом и причитаний в частности) мои экскурсии в культурную историю показались полезными как с чисто научной точки зрения, так и с точки зрения понимания действия обыденной речи. Надеюсь, в руках профессионалов изучение генеалогии дискурса сможет продвигаться вперед.

Еще одна серия вопросов, которая возникла у авторов рецензий и комментаторов, сводилась к тому, можно ли дискурсивные жанры, описываемые в книге, считать действительно подлинно русскими? Многие ученые (и не только антропологи), работающие в других странах бывшего социалистического блока, отмечали, что мои "литании и lamentации" звучат очень по-польски, по-болгарски, по-сербски – указания на это имеются в ряде работ, вышедших уже после моей книги. Слыша такие выводы, я стала думать о том, что этот жанр, вероятно, является достоянием некоего панславянского дискурса, дискурса, заслуживающего глубокого историко-лингвистического изуче-

ния. Но когда коллега из Греции сказал мне, что этот жанр – несомненно, греческий и к тому же весьма древний, а другие коллеги заявили, что прототип этого речевого жанра – еврейский, отмечая при этом то, что он мог быть позаимствован славянами у евреев, живших в пределах черты оседлости, то я поняла, что попытки проследить генеалогию этих жанров по славянским языкам или установить характер жанрового заимствования вряд ли будут продуктивными. (Как невозможно и последовательно свести происхождение современных литании и lamentации к фольклорным плачам, к комплексу Горя-Злосчастья, к челобитным царю или к какой-либо иной древнерусской форме.) Вместо этого более плодотворными, я думаю, будут попытки понять связь подобных жанров с теми контекстами, в которых они появляются.

Через все "Русские разговоры", в сущности, красной нитью проходит один и тот же вопрос: как связано то, что происходит в мире, с тем, как люди *говорят* о том, что происходит в мире. Другими словами, какое отношение имеет обыденный разговор к широкому социальным явлениям, социальным и политическим институтам, значимым событиям, масштабным структурным трансформациям? Как эти реалии оспариваются или, может быть, даже конструируются в разговоре? С помощью каких повседневных, спонтанных элементов разговора конституируются практики идентификации, оценки, сакрализации и поношения? В то же самое время не менее важным при анализе взаимосвязи речи и событий является и вопрос о том, как элементы речи влияют на события, какова их реальная роль в оформлении, модификации и даже в инициировании широкомасштабных процессов в жизни общества?

Как подчеркивали и Бахтин (в работах об устных и письменных высказываниях), и Фуко (в исследованиях институализирующих дискурсов), сколько бы мы ни изучали значение и функции дискурса в истории социальных институтов, культур или государств, мы никогда не приходим к чему-то окончательному ни в сфере анализа, ни в области интерпретации. Это утверждение как нельзя лучше подходит к ситуации, в которой основным объектом исследования становится разговорный, спонтанный дискурс – бескрайнее море речи, разговора, болтовни. Организация разговоров по жанрам – это всего лишь эвристический прием, способ обозначить течение бурлящей реальности, сама природа которой с трудом поддается описанию, не говоря уж о классификации. И никакому семантическому анализу не под силу установить, что именно *делают* люди, когда они говорят, или что делает их речь, когда она оказывается в потоке дискурса. Эта прагматическая задача еще более трудна, чем первая: наблюдатели могут предпринимать лишь пробные вылазки в попытке выявить культурных или политических прародителей, а также те последствия, которые спровоцировали разговоры, количество которых не поддается исчислению. Можно только вывести какие-то повторяющиеся модели речевого высказывания и предложить предварительные интерпретации их более широкого значения. Множественность подходов к анализу значимости и социального действия определенных типов высказываний, – как и противоречивость этих подходов, является не только нормальной, но и принципиально важной чертой научного исследования. Как писал Клиффорд Гирц в 1973 г. в своем эссе "Насыщенное описание", анализ культуры по определению незавершен. Более того, чем глубже этот анализ, тем он менее полон. Странная это наука: ее наиболее сильные выводы имеют крайне шаткие основания, и стремление не сбиться с поставленного курса лишь усиливает подозрения – собственные и чужие – в том, что выбранный подход вряд ли верен. Однако именно это наряду с глупыми вопросами, которыми приходится досажать умным людям, и составляет суть работы этнографа.

Читая отклики участников дискуссии, я несколько раз восклицала "Ага!", когда видела, как российские коллеги развивают или даже переворачивают вверх ногами некоторые из самых дорогих мне интерпретаций. Например, у А. Магуна я читаю: «Итак, "литании" российских граждан функциональны не только в символическом, но и в инструментальном смысле – во-первых, как единственная разрешенная форма со-

циального протеста в советское время, а во-вторых, как потенциально подрывная форма взрывного социального протеста». И далее: "Хотя эта линия объяснения проскакивает в книге Рис, преобладает все-таки не она". Совершенно верно. В моей интерпретации подчеркиваются архаические и обессиливающие человека качества ламентации, ее позитивный потенциал остался незамеченным. Хотя подрывной характер ламентации мне был очевиден, я связывала его только с ниспровержением *официальных смыслов*. Магун же указывает на реальное прагматическое значение ламентации-как-ниспровержения. Сейчас, спустя 15 лет, я понимаю, что ламентации, которые я слышала, были формой социального действия, не имевшей уже достаточной мощи, чтобы нести в себе адекватный "взрывной социальный протест"; это была *советская* форма, и хотя в период перестройки Советский Союз еще существовал как национальное государство, элиты, которые управляли этим государством, уже актуализировали, конструировали и даже осваивали собственную *постсоветскую* реальность. Возможно, этот процесс шел уже в 1985 г., но несомненно – в 1989 г. Вот почему необходимо принимать во внимание введенное Бурдые понятие *гистерезиса габитуса*<sup>3</sup>.

Не раз я произносила "Ага!" и когда читала пронизательную критику Елены Ярской-Смирновой, например, о том, что хотя "Русские разговоры" и регистрируют русские голоса, но это в основном формы и темы национальной саморефлексии, которые стали частью русского дискурса о России в том числе и благодаря текстам, написанным теми, кто посетил Россию в прежние времена. Она пишет: "Это не просто мнения аборигенов, но дискурсивные конструкты из предшествующих исследований". Она совершенно правомерно поднимает вопрос, которого я в своей монографии касаюсь весьма бегло. Любые национальные, коллективные и личные идентичности реализуются в опыте столкновения с "другими", но Ярская-Смирнова подступает здесь к более важному феномену – рефлексивному или диалогическому проецированию принадлежащих европейским визитерам архетипических концепций русскости, которые представляют собой особую версию евроамериканского ориентализма, зарезервированную для славянского Востока. Антрополог Михал Буховский недавно написал об этом<sup>4</sup>, и эта тема, несомненно, заслуживает собственной "дискурсивной археологии" своих раскопок, способных установить то, каким образом пронизанные властью и неравенством столкновения с иным объективируют "рамки повествования" (Ярская-Смирнова).

Головко поднимает аналогичную проблему – провоцирование иностранцами особого типа разговора, "разговора с иностранцем", стимулирующего не только "фонетическую, лексическую и грамматическую адаптацию к иностранному собеседнику, но и тематическую". Головко отмечает, что «вряд ли даже за довольно продолжительное время можно в достаточном объеме "выучить" прагматику, стоящую за коммуникативным взаимодействием, все эти разнообразные *contextualization cues*, к тому же еще и различные в разных социальных группах» и что "невозможно за относительно короткое время полевой работы уяснить меняющееся в зависимости от ситуации соотношение и тонкости взаимодействия речевых жанров". Я полностью согласна с этим. Думаю, правда, что здесь автор слишком близко следует за Гумперцем с его интересом к свойствам речи, акцентирующим динамику межличностных отношений вместо рассмотрения их в более широком эпистемологическом ключе. Я совсем не имею в виду, что в исследовании такого рода не стоит предпринимать попытку изучить прагматику и тонкости разговора, – на самом деле именно процесс изучения мириад мельчайших сигналов подвигает антропологов внимательно вглядываться в то, "как это все работает".

Я отдаю себе отчет в том, что мое присутствие самым серьезным образом воздействовало на манеру разговора моих собеседников, о котором говорит Головко – даже в том случае, если речь идет о группе из четырех, шести или десяти человек. Однако я

так же твердо убеждена в том, что дискурсивные ритуалы типа литании и ламентации (как, впрочем, и любые другие) в гораздо большей степени определялись мощными социальными и идеологическими тенденциями времени, а не моим присутствием. Возможно, в моем присутствии собеседники прибегали к этим жанрам чаще обычного или же я уделила им чрезмерное внимание – я допускаю здесь наличие некоторого перекоса. Однако если рассказы о "героических походах в магазин", о "мистической бедности" и сетования-причитания и не были доминирующими жанрами, они, тем не менее, отчетливо присутствовали в публичной сфере и были узнаваемы практически всеми, с кем я общалась. В беседах с друзьями и коллегами того времени мои описания этих жанров нередко сопровождалась их попытками продемонстрировать мне на практике тот самый жанр, который я пыталась им описать, подтверждая тем самым мое ощущение того, что изрядная доля разговоров вращалась вокруг именно этих тем, "исполненных" именно в таком стиле.

Неким доказательством реального существования обсуждаемых жанров речи во время перестройки можно считать их относительное *отсутствие* в последующие годы. Как я отмечаю в "Эпилоге", к 1995 г. в разговорах и в средствах массовой информации жалобы и причитания встречались все реже. Конец перестройки был периодом крайне интенсивных литаний и ламентаций – возможно, потому, что люди действительно старались понять свою жизнь, используя эти модели в качестве способа осмысления вещей, происходивших на фоне масштабных и беспрецедентных изменений в обществе в сравнительно сжатый период.

Перестройка отходит все дальше в прошлое, и разговоры становятся более разнообразными, более прагматичными и более циничными. Откровенный и неожиданный цинизм (и *разговоры о русском цинизме*) середины 1990-х годов, о котором я написала в вышедшей в 2002 г. статье, плавно перешел в обыденное отношение к жизни: именно так воспринимается нормальный, т.е. циничный, бизнес и нормальная, т.е. жесткая, политика ("нормальный тоталитарный капитализм", как выразился один мой знакомый). Отсюда уже недалеко и до ностальгии – хотя бы по временам перестройки, когда еще были живы надежды на иные возможности и иное будущее – несмотря на все литании и ламентации того времени.

### Примечания

<sup>1</sup> В своих комментариях редактор "НЛО" Илья Калинин творчески прояснил ту логику, на основе которой был сделан подобный эстетический выбор, однако он обошел стороной тот факт, что меня, как автора, не поставили в известность о том, что книга будет дополнена галереей иллюстраций. Когда я подписывала договор, мне не пришло в голову, что издатель пойдет на такие вызывающие дизайнерские решения без консультации с автором. И я, к своему ужасу, впервые увидела эти иллюстрации только после того, как книга уже вышла в свет.

<sup>2</sup> См.: *Brightman* 1995, где дается прекрасный критический обзор понятия "культура" с точки зрения антропологии.

<sup>3</sup> "Гистерезисом габитуса... – структурным зазором, запаздыванием между возможностями и готовностью воспользоваться ими – причиной упущения возможностей и, в частности, причиной *часто наблюдаемой неспособности думать об исторических кризисах иначе, как в категориях восприятия и мышления прошлого, даже если это революционное прошлое*" (курсив мой. – Н.Р.) (*Bourdieu* 1977: 83). См. также: *Ries* 2005. P. 318.

<sup>4</sup> См.: *Buchowski*. S.a.

### Литература

*Ries* 2005 – *Ries* Н. Русские разговоры. Культура и речевая повседневность эпохи перестройки. М.: НЛО, 2005.

*Bourdieu* 1977 – *Bourdieu* P. Outline of a Theory of Practice. Cambridge, 1977.

- Brightman* 1995 – *Brightman R.* Forget Culture: Replacement, Transcendence, Relexefication // *Cultural Anthropology*. 1995. № 10 (4). Nov. P. 509–546.
- Buchowski S.a.* – *Buchowski M.* The Specter of Orientalism in Europe: From Exotic Other to Stigmatized Brother (unpublished paper, University of Poznan, Poland). S.a.
- Geertz* 1973 – *Geertz C.* Thick Description: Toward an Interpretative Theory of Culture // *The Interpretation of Cultures*. N.Y.: Basic Books, 1973.
- Ries* 2002 – *Ries N.* "Honest Bandits" and "Warped People": Russian Narratives about Money, Corruption, and Moral Decay // *Ethnography in Unstable Places* / Eds. C. Greenhouse, E. Mertz, K. Warren. Durham, NC, 2002.
- Tannen* 1994 – *Tannen D.* Gender and discourse. N.Y., 1994.

Перевод с английского Н.Н. Кулаковой

***Special Section of the Issue Culture and Everyday Speech of the Perestroika Era: On Nancy Ries' Russian Talk: Culture and Conversation During Perestroika (guest editor: S.A. Oushakine)***

The issue's special section presents a roundtable discussion focusing on the Russian translation of Nancy Ries' book "Russian Talk: Culture and Conversation During Perestroika". The publication of this book in the United States – and, more broadly, in English-speaking academia – was thought of by some Russian Studies scholars as an important landmark. It was held to be a landmark, because it turned the attention of anthropologists and other researchers working in the field toward studying Russians, after decades of stereotypically following the tradition of focusing predominantly on smaller populations of the Russian North, Far East, and Siberia. The book, which was addressed primarily to English-speaking audiences, has recently appeared in Russian translation. This has suddenly opened a new space for cross-cultural discussion and debate. The section presents excerpts from Nancy Ries' book that are followed by comment articles from Russian and US scholars.